

ЖИВОВ В. М.

**ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ РЕДАКЦИИ  
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ**

(По поводу книги И. Тота «Русская редакция  
древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв.».  
София, 1985. 358 с.)

Труды И. Тота хорошо известны исследователям-славистам. В *Studia Slavica* им был опубликован ряд древнейших славянских памятников русского происхождения, ему принадлежит и серия палеографических и лингвистических описаний древнейших рукописей, содержащая полезную информацию о начальном периоде формирования русской редакции церковнославянского языка. Появившаяся недавно монография И. Тота как бы подводит итог этим исследованиям, что не может не вызвать у заинтересованного читателя определенных ожиданий: процессы формирования русской редакции до сих пор остаются не вполне изученными, и, заполнив эту лауну, было бы естественно перейти к существенным обобщениям, касающимся функционирования церковнославянского языка в Древней Руси, его отношения к церковнославянскому языку других редакций, его взаимодействия с разговорным языком восточных славян. В какой мере книга И. Тота отвечает этим ожиданиям, в значительной степени и будет предметом нашего обсуждения. Прежде чем перейти к нему, однако, я кратко остановлюсь на том материале, который содержится в монографии.

1. Материалом для исследования И. Тота послужили десять русских рукописей XI — нач. XII вв. Сюда относится Слуцкая псалтырь (СлПс), одноерова часть Пандектов Антиоха (ПА<sup>2</sup>), Туровские листки (ТЛ), Житие Кондрата (ЖК), Житие Феклы (ЖФ), Минея Дубровского (МД), Бычковская псалтырь (БПс), кирилловская часть Реймского евангелия (РЕ<sup>1</sup>), Листок Викторова (ЛВ), древнейшая русская часть Саввиной книги (СК<sup>2</sup>). В монографии дается краткая характеристика этих рукописей (с указанием палеографических особенностей), а затем рассматриваются отдельные явления, отражающие процесс адаптации церковнославянского языка на русской почве.

Характеристика рукописей составляет первую главу исследования. Вторая глава названа «От графики к орфографии». Первым вопросом, разбирающимся здесь, являются «особенности употребления букв ж, љ, ѡ, ѣ (ѡ) и оу (ѡ), ю, ѡ, а в древнерусских памятниках». Последовательно по всем десяти рукописям расписано употребление юсов, причем отдельно отмечается этимологически правильное употребление, употребление юсов на месте букв, обозначающих неносовые гласные (оу, ю, ѡ, а), употребление этих последних букв на месте юсов. Примеры сгруппированы по морфологическим рубрикам: по отдельности даются употребления в корнях, суффиксах и окончаниях, что в принципе позволяет увидеть, в какой сте-

пени писец при написании юсов пользовался морфологической информацией. Следующий параграф второй главы посвящен употреблению букв ъ и ь. Указав, что большинство древнерусских рукописей является двуеровым, И. Тот перечисляет затем рукописи с одноеровой орфографией: ПА<sup>2</sup>, РЕ<sup>1</sup>, ЛВ с исключительным употреблением ъ (я не уверен, что такая характеристика подходит для ЛВ, где написания с ъ составляют статистически значимую группу), ЖК с исключительным употреблением ъ. Автор пытается здесь обосновать тезис о том, что на Руси существовали писцовые школы, пользовавшиеся одноеровой орфографией и следовавшие здесь «болгарской» традиции. Особый раздел отводится употреблению йотированных букв. И. Тот указывает на класс рукописей с «полным комплектом» йотированных букв (ѣ, ѣж, ѣз, ѣд, ю — из исследованных рукописей сюда относятся ТЛ) и на классы рукописей, в наборе графем которых недостает одной или нескольких йотированных букв: ѣ — в ЖК (а также, за исключением нескольких примеров, в ПА<sup>2</sup>, ЖФ и ЛВ), ѣж — в ЖК, ЖФ, МД, РЕ<sup>1</sup>, ЛВ, ѣз — в БПс, РЕ<sup>1</sup> (а также, за исключением нескольких примеров, в ПА<sup>2</sup>, МД, СК<sup>2</sup>), ѣд и ю — в РЕ<sup>1</sup> (ю употреблено здесь всего два раза). Приведены списки примеров по памятникам и выяснены условия употребления отдельных йотированных букв. Последним моментом, который разбирается во второй главе, является употребление диакритических знаков. Исследуя их функцию, И. Тот принимает без особых оговорок гипотезу Е. Будде (выглядевшую легкомысленно уже и сто лет назад, когда она была выдвинута), согласно которой писцы с помощью диакритических знаков «старались передать те оттенки произношения, для передачи которых не хватало „буквенных средств“» (с. 204). Анализируя рукописи, И. Тот приводит примеры на употребление диакритических знаков для обозначения пропущенных редуцированных, для передачи «мягкости согласных» и для обозначения йотации (что здесь может быть причислено к «оттенкам произношения», остается неясным).

Третья глава носит название «Особенности языка русской редакции древнеболгарского языка». Глава начинается с раздела, посвященного судьбе редуцированных гласных. Выводы этого раздела соответствуют ожиданиям: в исследованных памятниках падение редуцированных практически не отражается, и автор относит это на счет влияния живой речи русских писцов, в ряде случаев, видимо, исправлявших написания оригинала. Ценной является роспись по памятникам всех примеров с ерами; примеры распределены по морфологическим рубрикам: редуцированные в корнях, суффиксах, приставках и предлогах, окончаниях. Будущий исследователь истории редуцированных сможет почерпнуть из этих материалов ряд интересных примеров, обнаруживающих роль морфологического фактора в правописании еров. Следующий раздел посвящен рефлексам сочетаний типа \**tъrt*, \**tъlt*, \**tъrt*, \**tъlt*. Как известно, правописание этих рефлексов с редуцированным перед плавным (типа *търъгъ*) или с редуцированными по обоим сторонам плавного (типа *търъгъ*) является одним из наиболее ранних формирующих моментов русской нормы церковнославянского языка. Исследованные И. Тотом памятники хорошо отражают этот процесс: в одних представлены только написания южнославянского типа (типа *търъгъ*), в других такие написания чередуются в разной пропорции с написаниями, ставшими стандартными для русской нормы, и, наконец, в третьих представлены только написания русского типа. Третий параграф настоящей главы посвящен рефлексам сочетаний типа \**trъt*, \**trъt*, \**tlъt*, \**tlъt*. Как и ожидается, примеров на прояснение редуцированных в этих сочетаниях в исследованных рукописях не обнаруживается;

остаётся неясным, зачем эти сочетания описаны в отдельном параграфе, а не рассмотрены в разделе, трактующем падение и прояснение редуцированных в других условиях. Последний параграф третьей главы носит название «Особенности употребления буквы *t*». Автор расписывает по памятникам примеры с *t*, распределяя их по морфологическим рубрикам. Цель этой работы неясна, поскольку никаких «особенностей» употребления при этом не выявляется. Отмечены единичные случаи смещения *t* и *n* (*a*), свидетельствующие, видимо, о глаголическом протографе соответствующих рукописей. В рефлексах *\*tert t* пишется в СлПс, ПА<sup>2</sup>, ТЛ, ЖК, ЖФ, ЛВ, а также в СК<sup>2</sup> (за исключением трех примеров); частое написание *e* в сочетаниях этого типа отмечается в МД, БПс и РЕ<sup>1</sup>. И здесь, таким образом, можно наблюдать постепенное становление русской нормы (которая требует написаний с *e*). И. Тот без оснований рассматривает соответствующие примеры под рубрикой «рефлексы общеславянских сочетаний *tert, telt*» — на рефлексы *\*telt* во всем приведенном материале имеется всего два примера, и автор не приводит ни одного аргумента в пользу тождественности судьбы рефлексов *\*tert* и *\*telt* в русской редакции церковнославянского языка (как известно, поздняя норма XIII—XIV вв. предписывала написание *e* лишь в рефлексах *\*tert*, но не в рефлексах *\*telt: предъ, по плбнѣ*).

В последней, четвертой главе книги говорится о «русизмах, редко встречающихся в рукописях». Содержание главы не вполне отвечает этому названию. И. Тот описывает здесь те явления, которые имеют ту или иную значимость в истории церковнославянского языка русской редакции, но не могут быть сколько-нибудь подробно проиллюстрированы на обработанном им материале. Сначала рассматриваются явления фонетические. Сюда относится написание *ч, ж* на месте *\*tj, \*kt'* и *\*dj* (*ч* на месте *\*tj* встречается только один раз в корне *чоуж-* в БПс, процесс становления *ж* как нормативного соответствия *\*dj* в русском церковнославянском намечен в МД, БПс, РЕ<sup>1</sup>, СК<sup>2</sup>), отсутствие *l* epentheticum в непервом слого как черта инославянских (у И. Гота почему-то лишь болгарских) протографов (несколько примеров в СлПс и ПА<sup>2</sup>), отражение первого полногласия (один пример в ПА<sup>2</sup>), отражение второго полногласия (написания типа *жърътвоу* в МД и БПс), отражение «первой веляризации» (*обълкъша, обълкълѣ* в МД), отражение «второй веляризации» (переход *\*je > o*, не представлен ни одним примером; И. Тот зачем-то приводит частицу *оле*, дважды встречающуюся в МД), рефлексы *\*oft* под циркумфлексом (*росташе са* в РЕ<sup>1</sup>), «начальное *ou* вместо *ю*» (*оуницы, оуности* в БПс). К числу морфологических явлений, рассматриваемых И. Тотом, относятся следующие: *t* в род. ед. и им.-вин. мн. существительных мягкой разновидности *a*-склонения (несколько примеров в РЕ<sup>1</sup>)<sup>1</sup>, *-ъмь, -ьмь* в тв. ед. существительных муж. и ср. рода (по памятникам в разном соотношении с *-омь, -емь*), *-а* в им. ед. действительных причастий муж. рода (единственный сомнительный пример *саи блгсанъ* в МД), *-тъ* в 3-м л. презенса (*-тъ* из обследованных рукописей только в СлПс; в БПс и РЕ<sup>1</sup> несколько примеров с отсутствием *-тъ*). Далее И. Тот рассматривает формы имперфекта, указы-

<sup>1</sup> Здесь же, среди морфологических явлений, рассматривает И. Тот и окончание *-нъ, -а* в вин. мн. мягкой разновидности *o*-склонения (которое он почему-то называет «разновидностью флексии *-ѣ*»). Между тем это окончание является лишь русской передачей южнославянского *-нъ, -а* закономерно возникающей при замене юсов непосовыми гласными. Эта специфическая черта книжной морфологии образуется благодаря усвоению южнославянского морфологического элемента; отличие русской редакции от южнославянских обусловлено здесь не морфологическими, а фонетическими процессами.

вая соотношение стяженных и нестяженных форм в разных памятниках, распространение перенесенных из аориста окончаний *-сте*, *-ста* во 2-м и 3-м д.в., характер гласного в суффиксе имперфекта и появление *-ть* в личных окончаниях 3-го л. (по одному примеру в РЕ<sup>1</sup> и СК<sup>2</sup>). Остановившись на употреблении суффикса *-ан* (в соответствии с южнославянским *-bn*), исследователь переходит к описанию встретившихся в рукописях «диалектизмов». Понятно, что диалектные явления в рассмотренных памятниках практически не отражаются. Те феномены, которые перечисляет в данном разделе И. Тот, по большей части не могут быть отнесены к выраженным региональным характеристикам. В разделе говорится об изменении *\*tʲ + j > tu + u* (типа *нарекоути има* в РЕ<sup>1</sup>); о принадлежности этого явления южнорусскому ареалу писал в свое время А. А. Шахматов, однако без достаточных оснований (в поздних работах диалектное приурочение отсутствует [1, с. 202]). Изменение *\*ʔ + jʲ > ы + u* (типа *вы истину* в ПА<sup>2</sup>) Шахматов считал более свойственным южным рукописям, нежели северным; на этом основании И. Тот и отражения этого процесса зачисляет в диалектизмы. Здесь же приводится один пример из ТЛ с *и* на месте *ѣ* (*видать*), который интерпретируется как южнорусская специфика. К южнорусским чертам (на этот раз вслед за В. Ягичем) относит автор и переход *ѣ > ь* в результате ассимиляции с передним гласным следующего слога (примеры сомнительны). Один пример сконья в ПА<sup>2</sup> (*црьньць*) приводит И. Тот в недоумение, поскольку он склонен считать ПА южнорусским памятником. Основанием для этого служит якобы отражающееся в ПА<sup>2</sup> (равно как в ЖК, ТЛ, ЖФ, БПс, МД) тройное разделение согласных на твердые, полумягкие и мягкие (о методологической непоследовательности в подобной интерпретации данных см. ниже). Наконец, автор пишет здесь о «своеобразном значении» употребления *-е* вместо *-ѣ* в дат.-местн. местоимений *ты* и *себе* и отсутствия *-ть* в 3-м л. презенса (в чем состоит своеобразие и какое отношение имеет оно к диалектным особенностям, остается неясным).

Завершается монография кратким разделом, озаглавленным «Подведение итогов». Поскольку следующая далее полемика и будет в значительной степени посвящена этим итогам, сейчас я на этом разделе останавливаться не буду<sup>2</sup>.

2. Исследование процессов формирования русской редакции церковнославянского языка требует двойной перспективы. Та эпоха, к которой принадлежат исследуемые И. Тотом памятники (XI — нач. XII в.), является переходной, и поэтому выявление значимых черт развития книжного языка в этот период предполагает восстановление некой первоначальной картины, исходного момента развития, и учет окончательных результатов этого процесса, т. е. тех норм книжного языка, которые сложились на Руси в XIII—XIV вв. (до второго южнославянского влияния). Только исходя из подобной двойной перспективы и можно понять, какие явления, обнаруживающиеся в рукописях, значимы: что является уходящими чертами книжного языка (что, таким образом, следует отнести на счет протографов), что превосходит позднейшую норму (именно здесь и ставится закономерно вопрос об источниках нормирования, прежде всего о книжном произношении), и что, наконец, следует трактовать как отклонение

<sup>2</sup> В конце книги дан список использованной литературы. Отмечу ряд пропусков и погрешностей. Так, в нем нет работы, обозначенной как «В. В. Иванов, 1968», на которую И. Тот ссылается на с. 203. Остается нерасшифрованной и работа, обозначенная как «А. А. Шахматов, 1914» (ссылка на той же с. 203) — имеются в виду «Очерки древнейшего периода истории русского языка» [1].

{ошибки орфографического характера или окказиональное отражение живого произношения, отличающегося в данном пункте от книжного).

2.1. Задача реконструкции итоговой картины является относительно простой: поздняя древнерусская норма книжного языка прекрасно документирована многочисленными рукописями, и лишь недостаточная изученность соответствующих памятников не позволяет сейчас представить ее во всех значимых деталях. Общие контуры этой картины, однако, достаточно ясны. В принципе И. Тот отдает себе отчет в важности этой перспективы и, подводя итоги (с. 331—332), проводит различие между теми русизмами, «которые с течением времени входили в нормы церковно-книжного языка», и теми русизмами, которые попадают в рукописи только по недосмотру писцов. Эта оглядка на сложившуюся норму в самом исследовании не проведена, однако, сколько-нибудь последовательно, и отсюда целый ряд сомнительных интерпретаций.

Так, я уже говорил о том, что как одно целое рассмотрена судьба рефлексов \**tert* и \**telt*: материал не дает для этого оснований, а позднейшая норма показывает, что написания с *e* являются принятыми лишь в случае рефлексов \**tert*, но не в случае рефлексов \**telt*. Один взгляд на позднейшую норму мог бы убедить И. Тота и в том, что последовательное различие *ѣ* и *e* (вне рефлексов \**tert*) является постоянной чертой русского церковнославянского — от XI в. до наших дней. Поэтому нет смысла подчеркивать тот факт, что в обследованных рукописях смешение *ѣ* и *e* отсутствует; тем более неправомерно трактовать этот факт как «архаическую фонетическую особенность» (с. 289) <sup>3</sup>.

Точно так же взгляд на последующую традицию мог бы помочь И. Тоту дать правильную интерпретацию различию *e* и *je* в начале слова в ТЛ. Обычно здесь в начале слова пишется *je*, однако в нескольких случаях — *eda*, *ei* (частицы), *ezerѣ*, *eваѣ* — пишется нейотированное *e* с диакритическим знаком или без него. И. Тот, основываясь на том, что в Зографском листке *ѣ* (с диакритикой) ставится в значении *je*, предполагает, что и в случае написания *e* в ТЛ в книжном произношении йотация имела место (с. 151). Известно, однако, что в позднейшем книжном произношении Юго-Западной Руси именно эти слова (т. е. заимствования из греческого, частицы *eda* и *ei* и основы *елен-*, *езер-*, *есен-*) читались с нейотированным начальным гласным (откуда и современное произношение и написание *э* в заимствованных словах [3]). Очевидно, что те рукописи, в которых различаются начальные *e* и *je* и начальное *e* закреплено за указанной выше группой основ, свидетельствуют о том же книжном произношении, которое можно наблюдать позднее в югозападнорусской традиции. ТЛ в этом отношении не исключение, они примыкают здесь к большинству древнейших памятников русского письма (Остромирово евангелие, Изборник 1073 г., Слова Кирилла Иерусалимского, Юрьевское евангелие и т. д.). Вопрос был подробно исследован Н. Н. Дурново [4, с. 23—37], и странно, что И. Тот не использует результатов этого исследования.

<sup>3</sup> И. Тот, возможно, имеет при этом в виду высказанную когда-то А. А. Шахматовым [1, с. 162] гипотезу, согласно которой в книжном произношении *ѣ* и *e* читались одинаково, и полагает, что обследованные им рукописи появились до установления этой традиции чтения. Самая гипотеза А. А. Шахматова маловероятна [2], но даже если исходить из нее, то и здесь обращение к позднейшей традиции однозначно показывает, что различие *ѣ* и *e* оставалось абсолютной орфографической нормой. Смешение *ѣ* и *e* в ряде древних рукописей (Софийские мины XII в., один из почерков Типографского Устава) объясняется особыми причинами и в любом случае является отклонением от грамотного книжного письма.

Путаную и непоследовательную интерпретацию дает И. Тот и написано в рассмотренных им рукописях букв *а* и *я* (в особенности в БПС — с. 103). Достаточно было бы, однако, обратиться к тем простым правилам, которыми определялась постановка этих букв в книжной орфографии XII—XIV вв., чтобы мнимые сложности исчезли и вырисовалась картина постепенного становления русской орфографической нормы, которая в ранних рукописях (XI в.) может проводиться не вполне последовательно, поскольку в отдельных случаях писцы повторяли написания своих инославянских прототипов.

2.2. Отсутствие четких представлений об «итоговой картине», о перспективе будущего мешают И. Тоту при интерпретации отдельных явлений, отдельных частных фактов. В значительной степени это, видимо, не принципиальные ошибки, а погрешности, обусловленные незнанием соответствующего материала. Сложнее обстоит дело с перспективой прошлого, сложнее, в частности, и потому, что сам вопрос представляет большие трудности и требует для своего решения четкой и точной методики.

В самом деле, если «итоговая картина» подробно документирована, то «исходная картина» должна строиться на фрагментарном, заведомо недостаточном материале. Мы знаем, что русская книжность и русский литературный язык древнейшей эпохи (церковнославянский язык русского извода) возникли на основе инославянской книжности, на основе общего для всех славян кирилло-мефодиевского наследия. Несомненно, что в XI в. на Руси имели хождение рукописи как восточноболгарского, так и македонского происхождения, равно как и рукописи происхождения западнославянского. С самого начала, таким образом, русские книжники сталкивались с церковнославянским языком разных изводов. Каков был при этом «удельный вес» отдельных изводов, остается в общем-то неясным. Неясным остается и самый характер орфографических и морфологических систем, представленных в этих рукописях. Очевидно, что дошедшие до нас старославянские памятники дают лишь очень неполное, в значительной степени случайное представление об этом первоначальном разнообразии. В частности, все наши представления о чешской редакции, значение которой в формировании русской книжности нельзя недооценивать, основаны лишь на Киевских и Пражских листках. Можно полагать, что в общем фонде имевших хождение на Руси рукописей были и памятники сербохорватского извода [5], от древнейшего периода которого до нас не дошло ничего. Реконструируя исходную картину, мы должны постоянно помнить об этой кардинальной неполноте наших знаний и не исключать а priori никаких возможностей — даже, например, такой маловероятной гипотезы, как наличие на Руси церковнославянских памятников польского происхождения. С древнейших времен церковнославянский был общим литературным языком славянства, и никаких принципиальных барьеров для миграции памятников из одной славянской области в другую не существовало [6].

Неадекватность сохранившихся старославянских рукописей для реконструкции всех разновидностей книжного языка славянства на рубеже X—XI вв. делает особенно актуальной задачу извлечения дополнительных данных из рукописей более позднего времени, прежде всего из русских рукописей XI—XII вв. В частности, как писал Н. Н. Дурново, «русские рукописи, восходящие к ю.-сл. орфографической традиции первой половины XI в., имеют большое значение, помогая судить и о самом ст.-сл. языке и об эволюции его у южных славян в X и XI вв. с большей ясностью, чем это можно сделать, пользуясь памятниками только ю.-сл.

письма» [7, с. 73]. Поставленная Н. Н. Дурново задача остается в значительной степени нерешенной и по сей день. Для ее решения необходимо во всех деталях понять, как именно работали русские книжники, и затем, исключив все те моменты, которые были внесены ими в славянскую книжную традицию (прежде всего все элементы переосмысления полученного извне языкового материала), выявить те черты, которые принадлежали усвоенному здесь кирилло-мефодиевскому наследию. И это лишь первый этап работы, поскольку далее эти отдельные черты должны быть соотнесены с разными редакциями литературного языка славян, сталкивавшимися на русской почве.

Поясню сказанное несколькими примерами. В целом ряде русских рукописей XI в. (Остромирово евангелие, Слова Григория Богослова, ТЛ, Синайский патерик, Пуятина минея, Изборники 1073 и 1076 гг., Чудовская псалтырь) употребляется четыре юса: ж, љ, а, ѡ. Между тем старославянские кириллические памятники с таким набором юсов отсутствуют. Возможно, такие памятники существовали, но не дошли до нас. Именно такой вывод и делает И. Тот. «Древнерусская графика с ж, љ, а, ѡ, — утверждает он, — отражает следы такой древнеболгарской графической традиции, которая с течением времени прекратила свое существование» (с. 124). Следует, однако, иметь в виду, что графическая система с четверкой юсов ж, љ, а, ѡ не является для кириллицы органическим развитием и может возникать в ней лишь как относительно поздняя реплика глаголицы (ѡ, созданный по аналогии с љ, должен при этом вытеснить а [8]). В какой степени вся русская графическая традиция с указанной четверкой юсов могла восходить к южнославянской кириллической системе, не отразившейся в сохранившихся памятниках? Не следует ли думать, что утверждение на Руси подобной графики было связано с распространением здесь глаголических рукописей? Эти вопросы побуждают еще раз с вниманием пересмотреть все факты, относящиеся к бытованию на Руси глаголической традиции, к связям русской книжности с македонской, хорватской глаголической и западнославянской, и это, возможно, приведет к переоценке значимости болгарской редакции церковнославянского языка для формирования его русского извода.

Значимым для реконструкции исходной картины является и книжное произношение еров как [o] и [e] (см. о нем [1, с. 205; 9, с. 63—65]). Подобное произношение еров могло идти лишь из той славянской традиции, где происходило прояснение редуцированных, давших в сильном положении /o/ и /e/. Книжное произношение еров может, следовательно, рассматриваться как свидетельство македонского вклада в русскую книжность. Древность и значимость этого вклада подчеркивается тем обстоятельством, что книжное произношение еров как [o] и [e] предполагает, в принципе, такую систему обучения чтению, при которой склады типа бъ и бь читаются так же, как и склады бо и бе. По-видимому, македонское происхождение может быть приписано самой этой системе обучения чтению, ср. [1, с. 205]. Этот факт имеет двойное значение. С одной стороны, он позволяет сделать вывод о том, что произношение еров как [o] и [e] к XI в. становится для македонского извода нормативным, конституируя признак, противопоставляющий македонский извод другим редакциям. С другой стороны, поскольку книжное учение на Руси складывается в законченную систему уже, видимо, в первой половине XI в., македонское влияние следует отнести к древнейшему периоду русской книжности.

И. Тот приводит любопытный материал, относящийся к данной проблеме, — редкие, но ценные своей древностью примеры отражения книжного

произношения на письме: *воложить* в ПА<sup>2</sup>, 22а; *гръзна* (ъ вместо о) в МД, 9а; *кото*, *члкъмъ* (ъ вместо о) в БПс, 7а, 4б; *вавилонскоаго* в РЕ<sup>1</sup>, 4а<sup>4</sup>. Однако его интерпретация этого материала основана на неприемлемых методологических принципах. По мнению И. Тота, указанная черта книжного произношения возникает относительно поздно: во время написания ЖК эта норма еще не сложилась (с. 231, ср. с. 142), а во время написания БПс ее формирование находилось в «начальной фазе» (с. 247). Эта точка зрения аргументируется тем, что в ЖК случаи написания *о* или *е* на месте слабых редуцированных полностью отсутствуют, а в БПс имеется всего два таких случая, один из которых сомнителен. Эта аргументация неверна, поскольку она не учитывает статуса написаний с *о* или *е* на месте слабых редуцированных. Орфографической нормой русского извода в XI—XII вв. является последовательное различение *о* и *ъ*, равно как *е* и *ь*: эти буквы одинаково читаются, но их смешение на письме считается ошибкой (в ряде памятников такие ошибочные написания подвергнуты правке [10, с. 287]), причем для выполнения орфографической нормы писцы проверяют написания с помощью своего живого произношения [9, с. 64]. Отсутствие ошибок или их малочисленность указывает лишь на орфографическую норму и не сообщает никаких данных о стоящем за написанием произношении — ЖК точно так же ничего не говорит о различении редуцированных и гласных полного образования в книжном произношении, как современное грамотное письмо о различении /о/ и /а/ в безударных словах в речи носителя литературного языка.

2.3. Ошибочная аргументация И. Тота в данном вопросе неслучайна, это лишь одно из частных свидетельств его нечувствительности ко всей проблематике реконструкции «исходной картины». Непонимание этой проблематики с самого начала существенно ограничивает глубину и значимость выводов его исследования. Это непонимание проявляется уже в самом названии работы — «Русская редакция древнеболгарского языка». Избранная автором терминология не только неудачна, но и принципиально недопустима при исследовании памятников литературного языка. Употребляя термин «древнеболгарский» (вместо обычного «церковнославянский»), И. Тот замечает, правда, что «вопросы терминологии весьма сложны и в определенной мере всегда носят условный характер», и выражает надежду на то, «что его терминология не нанесет обиды тем, что определяет древнейший литературный язык славянства другим термином» (с. 6). Однако эти ненужные оговорки только показывают, что проблематика истории литературных языков недостаточно ясна автору. Терминология может быть условной, может быть неточной, но она должна удовлетворять одному простому требованию — не называть двух разных предметов одним термином, не позволяя тем самым описать те процессы, в которых эти одинаково названные предметы играют разную роль. Именно этому требованию и не удовлетворяет термин «древнеболгарский» как наименование древнейшего литературного языка славянства. Пользование им не-

<sup>4</sup> Большую часть этих примеров, правда, И. Тот трактует как описки, возникающие под влиянием последующей или предшествующей гласной. Конечно, описки такого рода возможны, однако апелляция к ним как к стандартному объяснению — это один из случаев недопустимой палеографической мифологии. Прежде чем давать такое объяснение, следует выяснить, насколько часто возникают такие описки у данного писца в несомненных случаях (например, написание *л* вместо *к* в соседстве с *к* и т. д.). Без подобного обследования описка — это *Deus ex machina* в руках исследователя, стремящегося избавиться от непонятого материала. Именно в силу этого я считаю, что все указанные примеры должны рассматриваться — пока не найдено лучшей интерпретации — как огражение на письме книжного произношения.

избежно ведет к ошибочным выводам и неоправданным построениям, не проясняющим, а затмеваящим основные линии развития<sup>5</sup>.

Так, на с. 73 И. Тот пишет о древнеболгарском диалекте, письменно закрепленном в азбуке, созданной Константином-Кириллом. Почему диалект Солуни, на который ориентировался Кирилл, назван древнеболгарским, остается непонятным, ведь Солунь в Болгарское царство не входила никогда. Диалект Солуни был южнославянским, это несомненно, но нет никаких оснований считать его особо близким диалекту, скажем, Преслава. Называя его древнеболгарским, автор, не аргументируя, отождествляет две языковые системы, совершенно произвольно члени южнославянский диалектный континуум эпохи общеславянской общности.

Это отождествление ведет в свою очередь к новым двусмысленностям. Солунский говор действительно был диалектной основой старославянского языка (языка кирилло-мефодиевских переводов), однако старославянский с самого начала выступал как язык литературный, искусственный, для которого диалектная основа имела лишь второстепенное значение. Со своими переводами Кирилл и Мефодий отправляются в Моравию, и то, что в Моравии они сталкиваются с иным диалектом, несколько их не волнует. Старославянский адаптируется на моравской диалектной основе, что кладет начало западнославянскому изводу церковнославянского языка. Отсюда кирилло-мефодиевская традиция переходит в южнославянские земли, в частности, в Хорватию и Болгарию, и в результате появляются хорватский, болгарский и другие южнославянские изводы церковнославянского языка. Возникший таким образом болгарский извод ни в каком плане не может быть отождествлен с разговорным языком славянского населения Болгарии (что оправдывало бы наименование его древнеболгарским): это язык, возникший на иной, нежели восточноболгарская, диалектной основе, испытавший в Болгарии такие же процессы адаптации, как и в других славянских областях, и принципиально противопоставленный языку разговорному как нормированное литературное образование, всегда в той или иной мере отгалкивающееся от разговорного начала.

На протяжении XI в. Русь становится основным центром славянской письменности, вливающим в себя книжные традиции всех прочих славянских земель. Понятно, что здесь сталкиваются разные изводы церковнославянского языка. Процесс формирования русского извода нельзя понять, не учитывая этого разнообразия. Противоречивость норм, представленных в распространявшихся на Русь рукописях, была несомненно одним из важных стимулов для выработки своей, особой нормы. Можно полагать, что разные изводы церковнославянского воспринимались русскими книжниками как варианты единого книжного языка, и при этом вариативность его норм творчески переосмыслилась: создание русской нормы выступает одновременно и как процесс адаптации церковнославянского на восточнославянской диалектной основе, и как обобщение и приспособление имевшихся вариантов к задачам создания новой книжной нормы. Сведение всего этого разнообразия к одной болгарской традиции — что подразумевается термином «русский извод древнеболгарского языка» — с са-

<sup>5</sup> Замечу, впрочем, что И. Тот допускает в своей монографии несколько терминологических лягушечек, указывающих на странную путаницу основных понятий. Так, на с. 282 Добрилово евангелие 1164 г названо памятником «древнерусского языка», хотя трудно понять, в чем принципиальное отличие языка этого памятника от языка, скажем, Мстиславова евангелия, которое И. Тот считает памятником «древнеболгарского» языка. На с. 200 говорится о какой-то «церковнославянском произношении», отличающемся от «церковно-книжного произношения», сложившегося на древнерусской почве».

мого начала закрывает путь к воссозданию того сложного творческого развития, которое переживает на Руси литературный язык славянства.

2.4. И действительно, заблуждения И. Тота не остаются чисто терминологическими. В особенностях исследуемых им памятников он постоянно стремится увидеть простое воспроизведение черт восточноболгарской рукописной традиции. Соответственно, функциональная интерпретация изучаемых фактов подменяется интерпретацией генетической, так что процессы формирования русского извода — процессы функционального порядка — получают одностороннее и тенденциозное освещение.

Так обстоит дело, в частности, с предлагаемой в монографии интерпретацией русских памятников одноеровой орфографии. И. Тот считает, что на Руси «употреблялись все орфографические приемы, которые были выработаны древнеболгарскими писцами с течением времени как в Восточной, так и в Западной Болгарии. Вследствие этого в XI в. на Руси было представлено три крупные школы древнерусских писцов: 2 одноеровые школы и 1 двуеровая, причем в памятниках с одноеровыми школами обнаруживается только начальная фаза „обрусения“ древнеболгарского правописания» (с. 143). Существование на Руси одноеровых школ доказываться, по мнению автора, тем фактом, что двуеровые рукописи могут переноситься здесь в одноеровой орфографии. Именно так рассматривает И. Тот РЕ, однако его интерпретация логически несостоятельна. И. Тот исходит из трех примеров, в которых на месте *ъ* перед *и* стоит *ы*: *повиты и 5а*, *подты и 12б*, *придты и 15а*. Эти формы И. Тот считает искажением правильных форм протографа: *повитъ и* и т. д., Это и доказывает, на его взгляд, двуеровый характер орфографии протографа, поскольку «на базе такого диалекта, который лег в основу одноеровой графики с буквой *ь*..., появление написаний *ыи* (-*зи*) невозможно» (с. 138). В этих сложных построениях, однако, нет нужды. Естественно считать, что три указанных выше примера являются ошибками, совершенными не писцом протографа (и отсюда перенесенными в РЕ), а писцом самой рукописи. В говоре этого русского писца /*ь*/ и /*ы*/, безусловно, не смешивались и /*ь*/ перед /*и*/ имел аллофон, который легко мог отождествляться с фонемой /*й*/ и соответственно передаваться буквой *ы* (з): приведенные примеры являются, таким образом, ошибками, обусловленными живым произношением писца РЕ. Одноеровую орфографию, напротив, естественно трактовать как воспроизведение орфографии оригинала, что делает маловероятной гипотезу о существовании русских одноеровых школ<sup>6</sup>.

Двуеровая орфография несомненно была нормой русской редакции церковнославянского языка, соответствующей нормам русского книжного произношения. При переписке одноеровых памятников — видимо, достаточно широко распространенных на Руси в XI в., — как правило, восстанавливалось (с помощью живого произношения) этимологически правиль-

<sup>6</sup> История РЕ — это уравнение со многими неизвестными, и вряд ли было бы уместно решать его в данной работе. На мой взгляд, можно во всяком случае с уверенностью утверждать, что одноеровая орфография относится к южнославянскому «слою» этого памятника, а переход *ъ* > *ы* может относиться и к его восточнославянскому «слою». Гипотеза о сербском происхождении РЕ не представляется мне достаточно обоснованной (даже с оговоркой, что монах, «владевший чакавским наречием», переписывал его в Сазавском монастыре) и поэтому локальные южнославянские черты я склонен приписывать оригиналу РЕ. В то же время нельзя полностью исключить возможность того, что РЕ — это чешская копия XI в. с русского оригинала [11] (в этом случае, впрочем, можно было бы ожидать меньшей последовательности в написании еров). Данная возможность не меняет существа приведенных выше аргументов, они лишь переносятся на оригинал и оригинал оригинала РЕ.

ное написание еров. О его нормативности как раз и могут свидетельствовать ПА<sup>2</sup>, в которых в пределах второго почерка одноеровая орфография характеризует лишь первые семь листов, тогда как далее писец переходит на двуеровую орфографию: трудно истолковать это иначе, чем переход от воспроизведения оригинала к выполнению предписаний собственной орфографической нормы. РЕ, ЛВ и ЖК являются теми редкими рукописями, в которых писец — возможно, в силу недостаточной подготовки — этими предписаниями пренебрег<sup>7</sup>. Мы имеем здесь дело не с трансплантацией южнославянских орфографических норм, а с частными отступлениями, обусловленными влиянием южнославянских протографов.

В то же время И. Тот постоянно относит на счет влияния протографа такие черты, для которых подобное объяснение либо излишне, либо вовсе неприемлемо. Самый принцип работы древнерусских книжников автор понимает как посильное соблюдение «требования точного списывания древнеболгарских текстов» (с. 120). Такого требования, однако, не было и не могло быть именно потому, что на Русь приходили рукописи разных изводов с разными орфографическими системами, некритическое воспроизведение которых не могло согласоваться со стремлением к единообразию и нормативности. Как писал Н. Н. Дурново, «ошибочно думать, что сколько-нибудь грамотные писцы стремились к точной передаче написаний своих непосредственных оригиналов... Принципом было следование нормам книжного или литературного языка и правописания» [9, с. 45—47]. На счет оригинала могут быть отнесены лишь такие особенности рукописи, которые идут вразрез с действующими нормами литературного языка, не могут быть объяснены как отражение произношения (книжного или разговорного) или индивидуальная норма писца и в то же время находят себе аналог в рукописной традиции другого региона. Подобная установка, однако, чужда И. Тоту.

Так, например, анализируя русскую часть СК, И. Тот пишет, что здесь «консеквентно сохраняются исконные древнеболгарские написания ч + а, ж + а (*ша* только частично)... Написания *-ша* древнеболгарского оригинала передаются в большинстве случаев как *ша*... за исключением 5 случаев... По всей вероятности, последние примеры попали в СК<sup>2</sup> из оригинала» (с. 119). Подобная же интерпретация дается и написаниям *-ша*, *-ца* в БПс (с. 100—101). Вместе с тем, говоря о ПА<sup>2</sup>, И. Тот отмечает, что здесь «буква *а* вместо *а*, *ѣ* пишется обычно по древнеболгарской модели после букв *ж*, *ш*, *ч*, *ц*... Написания *жа*, *ша*, *ча*, *ца* восходят к древнеболгарскому оригиналу» (с. 81; ср. еще о МД, с. 97—98). Очевидно, однако, что во всех этих случаях оригинал не при чем. После палатальных

<sup>7</sup> Конечно, задача восстановления двуеровой орфографии не всегда решалась достаточно последовательно, и, видимо, именно с этим следует связывать довольно многочисленные в ранних русских рукописях случаи смешения ъ и ь [4, с. 21—23].

Обосновывая существование на Руси одноеровых орфографических школ, И. Тот ссылается еще на берестяную грамоту № 109 (рубеж XI—XII вв.) с исключительным употреблением ъ (с графическим эффектом ъ — ь). Можно было бы указать и еще на ряд ранних берестяных грамот со смешением ъ и ь [12, с. 109]. Правописание берестяных грамот, однако, строится на иных принципах, нежели орфография книжного письма, и поэтому не дает никаких указаний на книжную орфографическую практику. Правописание берестяных грамот связано не с навыками книжного письма, а с навыками чтения [13; 10, с. 261]. Соответственно, одноеровые грамоты свидетельствуют о распространении на Руси южнославянских рукописей с одноеровой орфографией. Авторы берестяных грамот усваивали из этих рукописей самый принцип неразличения еров, тогда как реализоваться этот принцип может и в исключительном употреблении ъ, и в факультативной замене ъ на ь, и в их безразличном смешении [12, с. 109]. Все это, однако, не имеет отношения к книжной орфографической норме.

согласных имела место нейтрализация противопоставления гласных по ряду [14], в частности, оппозиции /a/ — /ä/. В условиях эквивалентности А и ю в рукописях русского извода это создавало возможность вариантных написаний с а, ѣ или ю после шипящих и ц (написания с ю ограничены постольку, поскольку действует тенденция не употреблять ю после согласных). Эта вариативность и наблюдается в рукописях, она допускается нормой, причем разные писцы могут поступать по-разному: после шипящих и ц одни последовательно пишут а, другие А, а третьи свободно варьируют написания с этими буквами [10, с. 253]. Эти вариации, как правило, не имеют никакого отношения к этимологии. Характерно, что в Архангельском евангелии (1-й почерк) написания с а и с А распределяются приблизительно поровну и при этом этимологически неправильные написания столь же часты, как и этимологически правильные, т. е. этимологическая правильность (и правописание оригинала) выступает как совершенно нерелевантный фактор [15]. В этой перспективе связывать с «древнеболгарским оригиналом» или с «древнеболгарской моделью» какие-либо примеры из СК<sup>2</sup>, БПс, ПА<sup>2</sup> или МД представляется явно нецелесообразным.

Ориентация на этимологию и правописание оригиналов приводит И. Тота к игнорированию внутренней систематики исследуемых им памятников. Так, анализируя употребление юсов в БПс (из рассмотренных в книге самая близкая к устоявшейся норме русского извода рукопись), И. Тот замечает, что «благодаря отсутствию в ней знаков ж, љ и ѣ в графической системе наблюдается больше нововведений, чем в ЖК, ЖФ, ТЛ, и она является более сложной, чем графические системы рассмотренных выше памятников» (с. 103; разрядка наша. — Ж. В.). Действительно, в описании И. Тота система выглядит непростой: после гласной А этимологически правильно пишется в 37 случаях, но в 3 случаях вместо А, ѣ пишется ю; после согласных «сохраняется» написание А, но не после шипящих и ц, где, как правило, пишется а, а этимологически правильное написание А встречается лишь в двух случаях, и т. д. Графическая система БПс описывается, однако, очень простыми правилами (релевантными, кстати, для большого числа памятников русского извода):

/a/ → а    /ä/ → А;

В условиях нейтрализации

/ja ~ ä/ → А, ю; /ш, ч, щ, ц + а ~ ä/ → а, А.

Эти правила соотносят фонологические единицы с графическими и, видимо, отражают нормативные установки писца. Они не выводятся из протографов, и именно поэтому попытка описать дистрибуцию графем через южнославянские «праформы» дает столь запутанную и неясную картину.

Столь же неубедительной выглядит и попытка И. Тота доказать, что к древнеболгарским оригиналам восходит постановка диакритических знаков в ряде русских рукописей (с. 178, 188, 191, 196—197). Само употребление диакритик несомненно ориентировано на греческие образцы, которые одинаково значимы и для южных, и для восточных славян. В ряде рукописей употребление диакритик систематично, т. е. определяется простыми правилами: постановка диакритик над гласной в начале слова или слога, на месте пропущенной буквы (чаще всего њ или ѣ), для обозначения палатальности согласного. В этом случае мы имеем дело с орфографической системой данной рукописи (данного писца) и поэтому не располагаем никакими данными об орфографической системе оригинала. В ряде рукописей употребление диакритик бессистемно, т. е. нельзя сформулировать

никаких правдоподобных предписаний, которыми мог бы руководствоваться писец при их расстановке. И в этом случае, однако, нельзя сказать, что писец перенес диакритики из оригинала, допустив при этом много погрешностей. Бессистемное употребление может указывать не на оригинал, а на орфографическую традицию, внешние черты которой и воспроизводит писец, воспринимающий диакритики как признак книжного письма, но не придающий им никакой функциональной значимости.

Неубедительные отсылки к оригиналу появляются у И. Тота и в ряде других случаев: то отсутствие написаний *o*, *e* на месте редуцированных (нормативное для ранних рукописей русского извода) оказывается свидетельством того, что в основе протографа лежал диалект без прояснения редуцированных в /o/, /e/ (с. 213, 220), то к протографу возводится написание *всь* (с. 265 — это сокращенное написание встречается во множестве русских рукописей XI—XV вв. и выступает как допустимый орфографический прием), то к «древнеболгарскому оригиналу» возводятся аористы *приштъ*, *клатъ* (с. 246 — обычный для русских рукописей элемент книжной морфологии). Примеры можно умножить (ср. с. 211, 219, 241—242, 267). Они показывают, что автор слабо представляет себе лингвистические установки русских писцов, и это постоянно приводит к неверным и произвольным интерпретациям особенностей анализируемых рукописей.

3. Необоснованные заключения И. Тота о значении «древнеболгарских» оригиналов, об отражении их орфографии в правописании памятников русского извода оказываются возможными благодаря нечеткой и непоследовательной методологии. Для того чтобы построить ясную картину формирования русской нормы, необходимо отчетливо представлять характер работы русских книжников, те факторы, которыми определялось в их сознании понятие о языковой правильности. Орфографическая норма диктовалась при этом двумя моментами: элементарным соотношением графики и фонетики (книжного произношения) и специальными правилами книжного письма. Соотнесение графики и фонетики основывалось на обучении чтению: чтение по складам задавало фонетическое значение графем; орфографические правила были предметом специального профессионального обучения и в известных пределах могли варьироваться от одного скриптория (от одной орфографической школы) к другому [10]. Процесс формирования русской церковнославянской орфографии и состоял в том, что написания, отражающие русское книжное произношение и русские правила книжного письма, постепенно вытесняли написания, восходящие к инославянским оригиналам (например, в русском книжном произношении на месте \**dj* звучало /ž/, поэтому написания с *ж* постепенно вытесняли написания с *жд*). Те особенности письма, которые не подпадали ни под какие правила, не входили в норму; они могли допускать вариативность, причем характер этой вариативности прямого отношения к формированию русской нормы не имеет (например, написания с начальным *o* или *e/ie* в корнях *един-*, *езер-*, *ектениа* и т. д.).

3.1. Проблема источников нормализации остается в монографии И. Тота практически не поставленной. В результате ряд значимых фактов игнорируется, тогда как другие получают малоубедительную интерпретацию.

Так, в книге собран материал о смешении юсов с буквами для неносовых гласных. Истолкование этого материала, однако, вряд ли может удовлетворить читателя. Замену юсов буквами *ou*, *ю*, *a*, *ia* автор объясняет тем, что русские «писцы более или менее сознательно стремились упрощать графику древнеболгарских рукописей, упрощая некоторые юсы» (с. 123). Установка на упрощение, как кажется, плохо согласуется с об-

щим характером деятельности средневековых книжников. Вместе с тем движущий мотив данного процесса хорошо известен и не требует дополнительных оговорок: в русском книжном произношении носовые гласные отсутствовали, написание юсов не имело «фонологической опоры» и постепенно вытеснялось правописанием, соотносящим /u/ с *ou*, /ü/ с *ю*, а /ä/ с *а* [9, с. 59—60].

Имеется, однако, ряд ранних памятников, в которых случаи этимологически правильной постановки юсов существенно превышают по числу случаи их смешения с буквами *ou*, *ю*, *а*. К таким памятникам относится Остромирово евангелие, Слова Григория Богослова, а из рассматриваемых И. Тотом памятников — СлПс, ТЛ, ЖФ и ЖК. Эти памятники ставят перед исследователем существенную проблему: не являются ли они остатками рукописного наследия такой русской школы книжного письма, которая старалась выдерживать различие юсов и гласных *ou*, *ю*, *а*, *а*, т. е. не было ли в формировании русского извода такого промежуточного этапа, когда указанное различие было орфографической нормой? Если такой этап имел место, у русских писцов должны были быть правила постановки юсов, и было бы интересно попытаться их реконструировать. И. Тот предлагает некоторые правила, которыми, на его взгляд, «руководствовался русский писец (с. 88, 90—91, 93), — типа «сохранять буквы ж, а в начале слова», «сохранять ж и а... в начале слога», «сохранять а после исконно смягченных согласных...» (с. 93). Понятно, однако, что р у к о в о д с т в о в а т ь с я такими правилами писец не мог. Они по существу сводятся к предписанию «переписывай внимательно», а вероятность такого предписания вызывает, как я уже говорил, большие сомнения (как И. Тот согласует подобные предписания с постулируемым им стремлением «упрощать графику древнеболгарских рукописей», остается и вовсе непонятным). Правила постановки юсов, если они существовали, должны были носить морфологический характер [7, с. 89—90]. Не исключено, что определенное указание на эти правила дает ПА<sup>2</sup>, где по данным И. Тота ж этимологически правильно употребляется преимущественно в суффиксах и окончаниях, причем в окончаниях этимологически правильное написание наблюдается в вин. ед., в 1-м л. ед. ч. презенса и в 3-м л. мн. ч. презенса после гласной; после согласной в 3-м л. мн. ч. презенса ж последовательно заменен на *ou*. Этот вопрос явно нуждается в дальнейшем исследовании на более обширном и показательном материале.

Неадекватную интерпретацию получают и рефлексy сочетаний типа \**tъrti*. Как известно, в русских рукописях наряду с написаниями типа *тръгъ*, отражающими южнославянскую традицию, и написаниями типа *търгъ*, нормативными для русского извода, встречаются и написания типа *търъгъ* (или *тър'гъ*). И. Тот отмечает по этому поводу лишь эквивалентность написаний типа *търъгъ* и *тър'гъ* (с. 275), что, вообще говоря, не нуждается в специальном доказательстве, поскольку уже была установлена возможность замены пропускаемых еров диакритическим знаком. Написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ* И. Тот трактует как имеющие «звуковое значение» (с. 276), и это, видимо, справедливо, поскольку наличие таких написаний в берестяных грамотах раннего периода позволяет с уверенностью сказать, что в живой речи гласные произносились по обе стороны плавного [12, с. 124—126]. Это, однако, лишь указывает на проблему, а не решает ее. В самом деле, написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ* всегда составляют лишь относительно небольшой процент от написаний другого типа, причем здесь можно выявить ряд закономерностей, подтверждаемых и обследованными И. Тотом рукописями (сам автор, к сожалению, проходит

мимо этих фактов): если в рукописи есть написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ*, то в ней имеются и написания типа *търгъ*; если в рукописи есть написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ*, то написания типа *търгъ* представлены в ней существенно чаще, чем написания типа *търгъ*. Это показывает, что написания типа *търъгъ* ~ *тър'гъ* развиваются в ходе формирования русской орфографической нормы как сопутствующие написаниям типа *търгъ*. Статус этих написаний остается, однако, неясным. Были ли они допустимым орфографическим вариантом или ошибкой? Отличалось ли книжное произношение от разговорного тем, что в первом гласный звучал только перед плавным, а во втором — и перед и после него, и не отражали ли написания типа *търгъ* этого книжного произношения, а написания типа *търъгъ* — живой речи писца? Или же книжное и разговорное произношение были в данном аспекте тождественны, притом что фиксация на письме гласного звука, следующего за плавным, оставалась за пределами строгой орфографической нормы? <sup>8</sup> И эти вопросы требуют дальнейшего статистического исследования на более обширном и показательном материале.

3.2. Последняя проблема связана со сложными вопросами соотношения орфографии и фонетики: фонетические характеристики отражаются в правописании лишь косвенным образом, причем в книжном тексте могут действовать и такие орфографические условности, за которыми не стоит никакая фонетическая реальность. Современная славистика далеко ушла от того этапа исследований, когда книжный текст рассматривался как своего рода транскрипция и можно было писать, как это делал В. Н. Щепкин, о «кирилловских звуках» [17]. Тем не менее реликты этого подхода все еще сохраняются в научном сознании, и книга И. Тота дает этому немало примеров. Характерно, например, что он может писать об «архаичном з в у к о в о м облике» формы *олѣньмъ* (с. 164; разрядка наша. — Ж. В.). Точно так же, рассуждая о написании *ѣ* в СлПс, И. Тот пишет о двух тенденциях, «которые существовали в языке СлПс: 1) широкое произношение гласного /ѣ/, что засвидетельствовано написаниями буквы *ѣ* вместо *я* (*а*), 2) более закрытое произношение, что выражается в большинстве написаний, когда буква *ѣ* пишется этимологически правильно. Широкое произношение буквы *ѣ*, — замечает далее автор, — характерно для глаголических памятников...» (с. 285). Поскольку СлПс рассматривается как памятник русского происхождения, очевидно, что в произношении писца /ѣ/ выступал как фонема средневерхнего подъема, что же касается смешения *ѣ* и *я*, его естественно отнести на счет протографа, скорее всего глаголического (хотя, конечно же, не исключен промежуточный кириллический оригинал): оно является результатом неправильной транслитерации и о произношении не говорит ничего. Очевидно вместе с тем, что и употребление глаголицы не дает однозначных указаний на произношение /ѣ/: глаголический алфавит мог свободно употребляться и в тех славянских областях, где имела место оппозиция /ѣ/ и /я/ [15].

Некорректный переход от данных правописания к фонетике наблюдается у И. Тота и в других, более принципиальных случаях. Так, многочисленные случаи пропущенных еров в ограниченном наборе корней (*вс-*, *дън-*, *книг-*, *мног-*, *кът-*, *чьт-* и несколько других) рассматриваются И. Тотом как отражение падения редуцированных в «абсолютно слабой позиции» (с. 206, 211, 214, 228, 235, 253—254, 261). Отражение этого явления автор видит даже в написании *ѣалъма* в ЖК, а также в таких примерах,

<sup>8</sup> Ср. в этой связи противоречивые данные кондакарей [16] — кондакарная запись, как правило, в большей степени отражает книжное произношение, нежели обычное книжное письмо, и при этом может даже отступать от орфографических правил.

как *ѣание* (ЖК, ПА<sup>2</sup>), *наѣание*, *наѣати*, *ѣано* (РЕ), явно имеющих характер условного сокращения (с. 224, 230, 249). От фонетической трактовки не останавливают И. Тота и написания типа *всь* или *днь*, где опущен сильный редуцированный: в первом случае он видит влияние протографа (с. 265 — как будто это что-нибудь объясняет), а во втором пишет о положении «этимологически с л а б о г о редуцированного в с и л ь н о й позиции» (разрядка наша. — Ж. В.) (с. 235 — какой смысл имеет этот оксюморон, не сказано); между тем орфографический прием сокращения выступает в этих случаях с полной очевидностью. При этом автор игнорирует большое число корней, в которых редуцированный находится в такой же «абсолютно слабой» позиции и для которых нет никаких свидетельств о раннем его падении. Любого из перечисленных обстоятельств достаточно для того, чтобы отказаться от прямой фонетической интерпретации и увидеть в этом, как указывал еще Н. Н. Дурново, «орфографический прием», который «восходит к южнославянскому правописанию» [18] (И. Тот и здесь почему-то игнорирует результаты, полученные замечательным русским славистом).

Неоправданный переход от графики к фонетике наблюдается в монографии и в рассуждениях о мягкости согласных. Так, отдельные написания с *ю* после шипящих в ПА<sup>2</sup> (при основной модели с *a* в этом положении) указывают, по мнению И. Тота, на мягкость *ж*, *ш* в говоре писца, а написания с *ю* после других согласных (на месте этимологического *а*) «могут свидетельствовать о вторичной мягкости согласных перед 'а < а» (с. 81, ср. с. 150). На аналогичных основаниях делается и вывод о мягкости шипящих в ТЛ (с. 87). На основе анализа йотированных гласных и эквивалентных йотации диакритик И. Тот считает возможным предполагать для писца ЖФ, «как и для писца Мстиславова евангелия, тройное членение согласных: твердые, полумягкие и мягкие согласные» (с. 158). Написание *а* в суффиксе имперфекта в РЕ позволяет, на взгляд автора, «установить, что... исконно смягченные согласные не отличались от вторично смягченных согласных, возникших на древнерусской почве» (с. 174). Указание на вторично смягченные согласные И. Тот находит и в написаниях суффикса имперфекта как *-ѣа-* (*хотѣахъ*) в ЛВ (с. 172). Из постановки диакритических знаков над *н*, *р*, *л* выводится заключение о мягком произношении этих согласных перед */e/* (с. 192) и т. д. (ср. еще с. 204, 210, 211).

Очевидно между тем, что разбираемые орфографические системы в принципе не могут сообщить данных о так называемом «вторичном смягчении», о конкретной фонетической реализации шипящих, о совпадении первично смягченных и вторично смягченных согласных. Если, например, устанавливается соответствие */ä/* → *а*, *ю*, то из написания *ма* или *мя* нельзя сделать никакого вывода о качестве */m/*: фонологическая система может быть реконструирована так, что мягкость не входит в число различительных признаков, и анализируемые И. Тотом написания такой реконструкции не противоречат. Если даже процесс рефонологизации */mä/* > */m'a/* отнести к рассматриваемому периоду, он не отражался и не мог отражаться в правописании. После шипящих (палатальных шумных) происходила нейтрализация гласных по ряду. Соответственно, в позиции после этих согласных могли с равным успехом писаться *a* и *а* или *ю*, *ь* или *ѣ*. Мягкость не была релевантным признаком для палатальных, и поэтому выбор той или иной гласной буквы мог быть орфографической условностью, а отнюдь не обозначением фонетического качества.

Рефлексами сочетаний *\*nj*, *\*lj* и *\*rj* были первоначально палатальные сонорные, противопоставленные */n/*, */l/*, */r/* не по модальному признаку

мягкости, а по месту образования [15, 19]. Палатальность сонорных могла обозначаться как с помощью диакритических знаков, так и с помощью йотированных букв; последний способ обозначения палатальности мог распространяться и на палатальные шумные. Последовательное употребление йотированных букв после *л*, *н* (как, например, в Остромировом евангелии) указывает на существование подобной фонологической оппозиции (но отнюдь не на «мягкое произношение» *л*, *н*; не могут указывать на него и обозначающие палатальность диакритические знаки). Существовала вместе с тем и орфографическая традиция, в которой палатальность никак не обозначалась; буквы *к* и *л* могли выступать в ней как варианты, потому из их написания после согласных нельзя сделать никакого вывода ни о релевантности признака палатальности, ни о мягкости несонорных согласных, ни о совпадении «первично» и «вторично» смягченных, ни тем более о тройном членении согласных на твердые, полумягкие и мягкие [15; 10, с. 253]. Развитие новой фонологической системы, в которой согласные противопоставлялись по мягкости, а палатальные сонорные совпали с мягкими, принципиально не могло отразиться в тех характеристиках правописания, которые анализирует И. Тот. Поэтому его выводы остаются схемами, перенесенными из исторической фонетики восточнославянских языков и бездоказательно связанными с отдельными чертами орфографических систем исследуемых рукописей.

3.3. Нечеткость и непоследовательность методологии, которую можно было видеть на рассмотренных выше примерах, не позволяет И. Тоту построить убедительную картину формирования русского извода церковнославянского языка. Такая картина в принципе предполагает определение факторов, воздействовавших на формирование тех или иных элементов русской нормы: книжного и диалектного произношения, инославянских орфографических традиций и т. д. Понятно, что при путанице в выявлении черт протографа, неясности в разграничении фонетических и орфографических явлений не представляется возможным определить, как и на что воздействовал тот или иной фактор.

Еще менее убедительными представляются попытки автора установить хронологию отдельных явлений. Так, говоря об употреблении юсов, И. Тот предполагает, что древнейшими являются системы с тремя и четырьмя юсами, причем трехъюсовая орфография может быть старше четырехъюсовой, что четырехъюсовая была продуктивна в 1050—1080-е годы и что именно к 80-м годам XI в. относится ГЛ. Двухъюсовая орфография представлена Архангельским евангелием 1092 г., и на этом основании И. Тот считает, что она была продуктивной в 90-е годы XI в., и относит к этому периоду ПА<sup>2</sup>, МД, СК<sup>2</sup> и РЕ<sup>4</sup> (с. 125—127).

В общих чертах история юсов в русской письменности достаточно ясна. Те орфографические системы, которые стоят в прямой зависимости от инославянских протографов, получают распространение в начальный период русской письменности: к ним принадлежит как четырехъюсовая, так и трехъюсовая система. Нет оснований для принципиального ограничения этих систем 70-ми или 80-ми годами XI в. — йотированные юсы исчезают с прекращением прямого влияния инославянских оригиналов, т. е. к началу XII в. Сказать точно, когда впервые появились двухъюсовые русские рукописи, мы не можем; отнести продуктивную такой графики только к 90-м годам XI в. на основании одного Архангельского евангелия совершенно невозможно. Видимо, большая устойчивость ж — такой же излишней для русского извода графемы, как и йотированные юсы, — объясняется вхождением ж в стандартный алфавит, употреблявшийся при обу-

чении чтению [20]. Хотя двухъюсовые рукописи составляют меньшинство уже и для XII в., однако такую графическую систему можно наблюдать даже в Симоновской псалтыри последней четверти XIII в. (ср. еще последний почерк в Стихираре Син. 279, кон. XII в., л. 162об—168об). Поэтому из одного данного признака никакой датировки для ПА<sup>2</sup>, МД и т. д. извлечь невозможно, так что хронологические домыслы в данном случае неуместны.

То же самое можно сказать и о предположении И. Тота, согласно которому написание рефлексов \**trrt*, \**tblt*, \**trrt*, \**tblt* с диакритикой после плавного является более древним, чем написание с ерами по обе стороны плавного (с. 279). Автор делает это предположение на основании одного недатированного памятника (ЖФ), забывая при этом о том бесспорном факте, что уже в первом датированном русском памятнике, Остромировом евангелии, имеются как те, так и другие написания [21]. Этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы воздержаться от каких-либо гипотез о сравнительной древности.

Наивным выглядит и заключение И. Тота о том, что ни одна из обследованных им рукописей «не была написана после первой половины XII в.», поскольку в них не отразились «процессы утраты и вокализации редуцированных вместе со своеобразными последствиями их падения», впервые зафиксированные Добриловым евангелием 1164 г. (с. 282). Можно указать на целый ряд памятников конца XII — нач. XIII вв., которые по правописанию еров мало чем отличаются от рассмотренных в монографии рукописей: Добрилово евангелие отнюдь не было памятником, установившим новую норму, которой следовали все писцы, работавшие после 1164 г.

Формирование русского извода церковнославянского языка было сложным и длительным процессом, включавшим переработку инославянских норм литературного языка по целому комплексу признаков. В ходе этой переработки одни признаки закреплялись как средство противопоставления литературного и живого языка, тогда как по другим признакам литературный язык сближался с диалектным языком восточнославянского населения. Это сближение шло неравномерно по разным признакам. Так, скажем, *-ть* в окончаниях 3-го л. презенса входит в норму русского извода со времени самых первых известных нам памятников (формы на *-ть* отмечаются лишь в Остромировом евангелии и СлПс). *ж* на месте \**dj* вытесняет *жд* существенно медленнее: в наиболее ранних памятниках *ж* встречается значительно реже, чем *жд*, в памятниках рубежа XI—XII вв. *ж* постепенно берет верх над *жд*, и лишь в начале XIII в. *жд* оказывается за пределами нормы (ср. исправления *жд* на *ж* в Богословии Иоанна Дамаскина, Слп. 108), хотя отдельные формы с *жд* отмечаются и в рукописях XIII в. Еще медленнее идет замена *рѣ* на *ре* в рефлексах \**tert*: и в рукописях XIII в. пропорции написаний с *рѣ* и *ре* подвержены сильной вариации.

Каждый из релевантных для формирования русского извода признаков обладает своим характером изменения. При этом в рукописях наблюдается определенная взаимозависимость разных признаков. Например, если в рукописи последовательно выдержано *ре* в рефлексах \**tert*, то в ней последовательно выдержано и *ж* в рефлексах \**dj*; если в рукописи *ж* в рефлексах \**dj* встречается чаще, чем *жд*, в ней отсутствует *-ть* в 3-м л. презенса. Наблюдения над подобными зависимостями разбросаны в славистической литературе (они есть и у И. Тота, см. с. 339), однако они не приведены в систему. Систематический анализ этих закономерностей является одной из актуальнейших задач истории русского литературного языка. С этой

задачей связана и другая: выявление тех факторов, которые определили тот или иной характер эволюции признака.

Вместе с тем установление указанных закономерностей должно дать нам возможность построения относительной хронологии рукописей (отдельных почерков). Будучи охарактеризована по всем релевантным для формирования русского извода признакам, рукопись должна занять определенное место в истории складывания русской нормы. Для каждой пары рукописей (почерков) мы, вообще говоря, можем сказать, что одна из них относительно старше другой. Например, почерк, в котором последовательно проведено *ж* на месте \**dj*, в 70 % случаев пишется *pe* в рефлексах \**tert* и т. д., будет относительно моложе почерка, в котором встречается *жд* на месте \**dj*, в 40 % случаев пишется *pe* в рефлексах \**tert* и т. д.<sup>9</sup> Ясно, что прямого перехода от этой относительной хронологии к абсолютной нет и не может быть (хронологические гипотезы И. Тота и ряда других авторов обусловлены именно таким простым переходом), однако какая-то зависимость здесь наверняка существует. Чтобы получить возможность каких-либо обоснованных заключений в этой области, необходимо детально изучить в се сохранившиеся рукописи (особенно для XI—XII вв., где число их весьма ограничено). При этом звеньями, соединяющими относительную хронологию с абсолютной, будут служить, с одной стороны, датированные рукописи, а с другой — сопоставление разных, но единовременных почерков одной рукописи (такое сопоставление показывает, какие относительно одновременные системы могут абсолютно сосуществовать). Исследования в этой области — также одна из актуальных задач истории русского литературного языка.

Монография И. Тота этих задач не ставит и не решает. Самый отбор материала предопределяет ограниченность проблем, решаемых в исследовании. Автор выбирает десять второстепенных памятников древнейшего периода, преимущественно небольших отрывков, в ряде случаев не способных дать материал для значимых статистических наблюдений. Общий объем всего рассмотренного материала — около 70 листов, т. е. менее трети обычной «целой» рукописи. Даже и при абсолютной методологической четкости на этом материале вряд ли можно хотя бы с относительной полнотой раскрыть вынесенную в заглавие тему — русская редакция древнеболгарского (т. е. церковнославянского) языка в конце XI — начале XII вв. Данная тема безусловно требует привлечения всех сохранившихся рукописей рассматриваемого периода, и прежде всего таких основополагающих памятников, как Остромирово евангелие, Изборники 1073 и 1076 гг., Слова Григория Богослова, Слова Кирилла Иерусалимского, Синайский патерик, Чудовская псалтырь, Типографские и Синодальные мнени и т. д. Это очень трудоемкая работа, но это же и единственный путь к получению значимых выводов. Заменить этот труд изучением нескольких отрывков невозможно. Между тем, работа с отрывками является, видимо, принципиальной установкой И. Тота, поскольку он оперирует с фрагментами не только в том случае, когда это все, что дошло до нас, но и тогда, когда рукопись сохранилась в более пространным виде: из 310 листов ПА выбрано 7, из 144 листов БПс (вместе с синайской частью) выбрано только 9<sup>10</sup>.

Такой подход к изучению процессов формирования русского извода

<sup>9</sup> Конечно, в принципе могут быть и такие случаи, когда одна рукопись (почерк) «обгоняет» другую по одному признаку, но «отстает» от нее по другому. Такие пары колеблющихся признаков также должны быть предметом особого изучения: ясно, что лишь немногие признаки могут образовать такие пары.

<sup>10</sup> Хотя фототипическое воспроизведение всей рукописи легко доступно [22].

нельзя назвать перспективным. И по объему рассматриваемого материала, и по широте ставящихся задач исследование И. Тота стоит в стороне от той плодотворной славистической традиции, которая обозначена трудами А. И. Соболевского, В. И. Ягича, А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново, Г. Лаята. Проблемы формирования русского извода ждут своего исследователя. Надо полагать, что он — среди прочих материалов — воспользуется и работой И. Тота. Собранные им данные (часто, видимо, с иной интерпретацией) найдут свое место в общей истории русского литературного языка. Эта история, основанная на всем дошедшем до нас богатейшем рукописном материале, должна раскрыть один из важнейших аспектов развития русской культуры в эпоху средневековья.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
2. Живов В. М., Успенский Б. А. Оппозиция рефлексов \*ѣ и \*е в книжном произношении и историческая диалектология. — В кн.: Совещание по вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов и сообщений. Т. II. М., 1984.
3. Успенский Б. А. Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования): Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1971, с. 18—19.
4. Дурново Н. Н. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка. — *Јужнославенски филолог*, 1926—1927, кн. 6.
5. Дурново Н. Н. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов. — *Byzantinoslavica*, 1929, Sv. 1, с. 51.
6. Толстой Н. И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян. — ВЯ, 1961, № 1.
7. Дурново Н. Н. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка. — *Јужнославенски филолог*, 1924, кн. 4.
8. Marti R. W. Old Church Slavonic nasal vowels:  $\Upsilon$  or VN? — *New Zealand Slavonic Journal*, 1984, p. 143—144.
9. Дурново Н. Н. Славянское правописание X—XII вв. — *Slavia*, 1933, гоф. 12.
10. Живов В. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века. — *Russian Linguistics*, 1984, v. 8, № 3.
11. Lunt H. G. On writing the history of the language of Old Rus'. — In: *Semiosis. Semiotics and the history of culture*. In Honorem Georgii Lotman. Ann Arbor, 1984, p. 316.
12. Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения. — В кн.: Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986.
13. Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983, с. 38.
14. Issatscheulko A. Geschichte der russischen Sprache. I. Bd. Von den Anfängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Heidelberg, 1980, S. 130—131.
15. Lunt H. G. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. University microfilms. Ann Arbor, 1949.
16. Успенский Б. А. Древнерусские кондакари как фонетический источник. — В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г.: Доклады советской делегации. М., 1973, с. 330—332.
17. Щепкин В. Н. Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899, с. 289.
18. Дурново Н. Н. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка. — *Јужнославенски филолог*, 1925—1926, кн. 5, с. 111.
19. Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980, с. 41.
20. Янин В. Л. Новгород. Берестяные грамоты № 540—614. — В кн.: Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986, с. 53.
21. Козловский М. Исследование о языке Остромирова Евангелия. — В кн.: Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб., 1885—1895, с. 110—111.
22. An Early Slavonic Psalter from Rus'. V. I: Photoreproduction. Ed. by Altbauer M. with the collaboration of Lunt H. G. Cambridge, 1978.

Замечу, что, рассматривая лишь фрагмент этой рукописи, И. Тот высказывает странное предположение, что она является памятником скорее южного, нежели северного происхождения (с. 49). Поскольку в синайской части отражается цоканье, такое предположение нуждается в каком-то особом обосновании.

Я бы считал вместе с тем, что лишь при стремлении к полному охвату рукописей XI в. (и лишь с оговорками) в корпус исследуемых текстов можно вводить СлПс, дошедшую до нас в копии, которую трудно считать достоверной во всех деталях.